

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



Крутые горы

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАЛЫШ» 1983

Альберт Лиханов

Крутые горы

«Public Domain»

1971

Лиханов А. А.

Крутые горы / А. А. Лиханов — «Public Domain», 1971

В этой повести автор поднимает проблемы становления характера и нравственного воспитания подростка. Маленькому герою этого произведения приходится быстро усвоить очень много грустных понятий, которые принесла с собой война. В 1971 году повесть «Крутые горы» удостоена 2-й премии Всероссийского конкурса на лучшую книгу для детей. «Крутые горы» вошли в группу произведений (сборник «Музыка», трилогия «Семейные обстоятельства», роман «Мой генерал»), за которые А. Лиханов был в 1976 году награжден премией Ленинского комсомола. Об ошибках (опечатках) в книге можно сообщить по адресу <http://www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?t=3135> . Ошибки будут исправлены и обновленный вариант появится в библиотеках.

© Лиханов А. А., 1971

© Public Domain, 1971

Альберт Лиханов

Крутые горы

Я не понял, что началась война.

Мы сидели на стеганом одеяле под вишнями, чтобы не просквозила земляная сырость, а отец ушел за пивом. Его что-то долго не было, хотя пивом торговали на углу – пять минут ходу, а потом он, вошел в сад – громко хлопнула калитка, и я увидел, что он идет быстро, будто опаздывая, и лицо его напряжено, и вообще что-то с ним такое случилось, потому что пиво не приносят с таким лицом, и немножко удивился, а отец подошел торопливым шагом и остановился у одеяла.

– Война началась! – сказал он, и все ему улыбнулись, не понимая, а потом вдруг вскочили с одеяла, и я отвернулся, уже забыв про отцовские слова, и увидел, как опять дунул легкий ветер и на траву просыпались вишневые белые лепестки, будто в самую жару выпал снег.

Я не понял, что началась война, и позже, когда собралось много родственников и отцовских друзей, все выпивали, как на празднике, а потом отец встал – в черном пиджаке со значком ГТО на серебряной цепочке, надел на крутой лоб крапчатую модную кепку с длинным козырьком и закинул за плечи брезентовый походный мешок.

Все вышли во двор – знойный от жары, зеленый от травы и светлый от солнца и, потоптавшись, помолчав, словно не зная, что прибавить, вдруг стали рассаживаться где попало. Бабушка уселась на бревно, старый такой кряж, который все никак не собрались распилить, мама с отцом на лавочку, а гости прямо на траву – сочную и густую.

Взрослые сидели молча, усадив и меня, а мне все хотелось вскочить и побежать куда-нибудь по прохладной траве. Но меня не пускали. Чья-то тяжелая рука лежала на моем плече, будто груз, и я не мог вскочить, не мог побежать по манящей траве и удивленно разглядывал хмурые лица, краешки опущенных губ и морщины.

Потом все встали, и отец подошел ко мне. Я почувствовал, как он подхватил меня, подбросил вверх, к солнцу, и я счастливо рассмеялся. Я взлетал и взлетал прямо к небу и видел, как разглаживаются хмурые лица внизу, как улыбается бабушка, как смотрят на меня гости, приятели отца. Приветливо и открыто.

Я смеялся, не понимая, что началась война, ничего еще толком не зная, и махал приветливо рукой вслед отцу, радуясь, что напоследок он все-таки догадался, все-таки подарил мне значок ГТО на серебряной цепочке.

Отец шел по пыльной жаркой улице, а справа и слева от него и мамы шли гости; они шагали, взявшись под руки, словно собрались на прогулку, и заняли всю булыжную мостовую. Они еще пели про Катюшу – замечательная такая песня, – отец оборачивался иногда, а я стоял возле бабушки и все улыбался, потому что у меня было хорошее настроение.

* * *

Что такое война, я узнавал постепенно.

Сначала это были письма. Отец посылал открытки с войны, и на открытках была нарисована женщина. В одной руке она держала листок с клятвой, а второй указывала вверх. Вверху же было что-то написано, я разбирал по слогам: «Ро-ди-на-м-ать зо-вет!» – и всякий раз подпирал кулаком подбородок. Кого это зовет Родина-мать? Получалось, она звала всех, а значит, и меня, но я все не мог придумать, куда идти мне. Пригорюнясь, я вспоминал светлую летнюю улицу, по которой уходил отец с гостями, пытался припомнить его лицо, но оно исчезало, стиралось из памяти, и я пугался этого. Тогда я смотрел на карточку, которая висела над комодом. Отец был там каким-то ужасно молодым, но все-таки очень похожим на себя, и я успокаивался.

Но куда же звала меня Родина-мать, я не понимал, как ни внимательно разглядывал открытку. Отец писал какие-то веселые слова – мама всегда читала вслух его открытки, плакала при этом, а мне страшно хотелось понюхать отцовскую открытку, потому что она была желтой, будто пропитанной маслом.

Оставшись один, я нюхал ее тщательно, долго, будто пес, но она ничем, кроме бумаги, не пахла.

Потом мама принесла разноцветные листки. Листки состояли из клеточек с цифрами, и мама сказала, что теперь вся еда будет продаваться только по этим талончикам. И полезла в ларь, смотреть, сколько осталось у нее довоенной пшеники и гречи. Мама вздыхала, качала головой, говорила, что остались крохи, а я радовался, что теперь меня не будут заставлять есть эти ненавистные каши.

Впрочем, скоро я переменял свою точку зрения, и пшенка в горшочке, с поджаристой румяной корочкой являлась мне во сне как укор и как наказание, потому что мама освоила новое блюдо – завариху.

Завариха была удивительной едой. Я много раз видел, как ее готовила бабушка или мама, и до сих пор помню, как это делается. В горячую воду сыплют муку, добавляют чуть соли, варят – и все в порядке – берись за ложку и проверяй свою жизнь. Если ложка в заварихе стоит торчком – еще ничего, жить можно, мука, значит, есть, а если ложка падает, дело худо, мука на исходе, и значит, за едой мама опять станет вздыхать, а потом подойдет к гардеробу и будет перебирать плечики с одеждой.

Мама сердито двигает плечики, они стучат железными крючками, стучат с каждым разом все громче, потому что все больше в шкафу пустых плечиков.

Один лишь отцовский костюм висел в стороне, укутанный простыней, будто ему холодно и он может замерзнуть. Мама никогда не прикасалась к нему – она двигала свои платья, и каждый раз, как жиге становилась завариха, одно куда-то уносила.

Мамины платья исчезали, а завариха не исчезала никуда, и тогда по ночам мне стали сниться эти маленькие глиняные горшочки с распаренной крупитчатой кашей, покрытой румяной корочкой. Такие горшочки бабушка доставала из печи по утрам в воскресенье, и я начинал понимать, что те воскресенья и те утра были раньше.

Были до войны.

* * *

Во вторую военную осень я пошел в школу.

Парты в нашем классе стояли в четыре ряда, оставляя узкие проходы, такие узкие, что учительница ходила по ним боком. К концу каждого урока становилось жарко и душно, на перемене дежурные строго-настрого всех выгоняли, открывали настежь все форточки. Школа была старая, маленькая, неприспособленная для такого множества учеников, и поэтому коридор в перемену был так забит стриженными наголо головами, что не только разбежаться было невозможно, но даже продираться сквозь эту толпу приходилось, лишь усиленно работая локтями.

Мне эта толкотня и теснота не казались удивительными, потому что в другой – просторной – школе я не учился, не знал, что может быть как-нибудь по-иному, и я продирался на переменках сквозь ребячью толпу, двигая локтями в бока, сам наезжая на чужие локти и радуясь этой веселой неразберихе.

Школа работала в три смены, первышам, конечно, уступали первую, и подниматься приходилось рано, потому что уроки начинались в восемь.

Зимой мы с мамой выходили из дому, когда была еще настоящая ночь, над головой висели россыпи крупных звезд, хрупал под валенками жесткий снег, на улице горели редкие

фонари, похожие на одуванчики оттого, что их свет в морозном воздухе расходился ровным кругом.

Я шагал, еще не совсем проснувшийся, слушал скрип своих шагов, мама вела меня за руку, и иногда я закрывал глаза. В такие минуты я походил на старую клячу, которая может и не глядеть, что делается перед ней, а только послушно поворачивать, когда дергают вожжи. Мама молчала тоже, неудобное утро не располагало к разговору, и если хотела, чтобы я шагал быстрее, тихонько встряхивала мою руку. Не открывая глаз, я прибавлял пару, я чувствовал, что начинается подъем, значит, до школы уже недалеко, и с трудом разлеплял слипшиеся от инея ресницы.

Сколько раз ходил я в школу, столько раз ждал этого торжественного мгновения. Без четверти восемь в морозной тишине вдруг раздавался протяжный сиплый звук, похожий на вой доисторического чудовища. Тотчас ему подтягивал еще один, еще и еще, и вот уже стадо странных зверей выло в один голос. Люди на улицах оживлялись, шли быстрее, некоторые даже бежали, и мама отпускала мою руку, приговаривая:

– Иди скорей! Я побежала!

Она сворачивала к своему госпиталю, прибавляла шаг, а доисторические животные все ревели в один голос, предупреждая тех, кто работает, чтобы они не опаздывали. Они ревели, сипели, наверное, с минуту, а то и больше и утихали так же неожиданно, как и начинали. Это ревели заводские гудки, и я всегда с ужасом думал о них. В первый день, как мы пришли учиться, нам объяснили, что если заводы загудят вот так же, как утром, среди бела дня и будут гудеть долго, это начинается воздушная тревога. И тогда надо бежать в бомбоубежище, надо прятаться в щели, открытые во дворах.

Эти слова пугали меня, и, сидя на уроке, я неожиданно сжимался: мне казалось, что вот-вот загудят все заводы. Но время шло, воздушных тревог не объявляли, только однажды вечером над городом вдруг взвились три голубых прожекторных столба, перекрестились мгновенно. Я был на улице, кажется, мы с мамой ходили отовариваться в магазин, и я подумал, что это ищут немецкий самолет: в небе что-то гудело. Мама, наверное, подумала то же, она прижала меня к себе, но не двинулась с места; мы стояли посреди улицы, как загипнотизированные, и глядели вверх. Прожекторные лучи разбежались в стороны, и тут один из них ухватил своей лапой маленький самолетик. Другие лучи тотчас опять сомкнулись вместе, и в перекрестии белых столбов, располозовавших небо, я разглядел на крыле самолета звездочку. Летчик покружил неторопливо над городом – видно, это были учения прожектористов, да и заводы не гудели, – но мы с мамой все никак не могли наглядеться на это зрелище, пока прожекторы один за другим не погасли.

Когда мы пошли дальше, я почувствовал, что мама крепче сжимает мою руку.

Тревоги так и не было, в щелях, открытых во дворах, играли мальчишки, однако стрелки на домах, указывающие, где ближайшее бомбоубежище, время от времени подновляли. Но страх к утренним гудкам у меня не проходил. Шагая за мамой, все никак не в силах проститься со сном, я тревожно думал всякий раз, что сейчас я открою глаза и раздастся этот сиплый вой.

* * *

Но настоящую войну мне показал Вовка Крошкин.

Мы сидели с Вовкой на одной парте, и он вполне соответствовал своей фамилии. Вовка Крошкин был очень маленький, но очень головастый. Головастый во всех смыслах. Он хорошо соображал, особенно по арифметике, а кроме того, его голова была очень большая, круглая и крепкая. Иногда – не злоупотребляя, впрочем, этим – Вовка применял ее как таран, готовый снести на своем пути любую преграду. Во всяком случае – почти любую.

Спорить с этим никто в нашей начальной школе не решался, потому что это свое достоинство Вовка Крошкин продемонстрировал публично, при всех, с ледяным хладнокровием и твердой уверенностью. Однажды на перемене мы с Вовкой продирались, используя локти, к уборной, боясь опоздать, потому что переменка была маленькая, а очередь в уборной, как и обычно, большая. Продираясь первым, Вовка не то наступил на ногу, не то сильнее нормы толкнул в бок какого-то ушастого третьеклассника. Тот остановил Вовку за воротник – при этом у Вовки отскочила от ворота пуговица – и больно щелкнул его по голове. Вообще-то Вовкина голова от такого щелчка совершенно не пострадала, она бы выдержала и не такое, но третьеклассник при этом оскорбительно заржал, а поскольку школа была смешанная, засмеялись и девчонки, стоявшие рядом.

Вовка повернулся к ушастому третьекласснику и посмотрел на него мгновение. Я заметил, как в Вовкиных глазах мелькнуло мимолетное сожаление к этому большому, но глупому ушастику, он раскинул руки, как бы собираясь взлететь, уперся ими в толпу, шевелящуюся за спиной, откинул назад круглую, как крепкий капустный кочан, голову и, сделав стремительный шаг вперед, неожиданно воткнулся ею в живот третьеклассника. Тот все еще хохотал, все еще веселился, и вот так, веселясь, с открытым ртом, вдруг сложился вдвое и рухнул на пол.

Вовка Крошкин повернулся и стал как ни в чем не бывало прорубать себе просеку дальше к уборной.

Возвращаясь, я думал, что третьеклассники станут приставать к нам, но то ли ушастый не пользовался поддержкой в своем классе, то ли Вовкина голова действительно произвела сильное впечатление, никто нам не сказал ни слова, даже наоборот, Вовке теперь не требовалось пыхтеть, потому что все перед ним расступались.

Когда начался урок, я почтительно оглядел Вовкину круглую голову. Владелец крутил ею как ни в чем не бывало.

– Больно? – спросил я с сочувствием Вовку.

– Не-а! – ответил он жизнерадостно. – Живот-то мягкий!

И хотя Вовкин ответ был абсолютно логичным, я решил про себя, что такой головой можно сокрушить кое-что и подтверже.

* * *

Однажды Вовка опоздал на уроки.

Отгромыхал медный звонок, которым помахивала нянечка в коридоре, вошла в темный класс учительница Анна Николаевна, как всегда кутаясь в мягкий платок и держа в одной руке керосиновую лампу.

Наши тени таинственно задвигались по стенам, наползая друг на друга, учительница поставила лампу на стол, щелкнула спичкой, зажгла свечку у кого-то на первой парте и двинулась с нею по узкому проходу между рядами.

Эта každоутренняя церемония ужасно нравилась мне. Анна Николаевна шла по рядам и зажигала на партах, словно на елке, свечи от своего огонька. Класс постепенно выплывал из черноты, озарялся колеблющимся сиянием, только высокий лепной потолок старинного дома оставался в полумраке.

Эти пять или десять минут, пока учительница освещала класс сиянием свеч, которые мы носили в портфелях вместе с чернильницами-непроливайками и тетрадками, сшитыми из довоенных газет, вообще-то можно было бы не считать еще уроком, хотя звонок уже и отгремел, да так оно и было в других классах.

Но Анна Николаевна говорила, что это безрассудство, что учиться можно и в некотором мраке – ничего страшного, – и начинала спрашивать, едва ставила на учительский стол керосиновую лампу.

Она шла по узким рядам, зажигала наши свечи, а кто-нибудь, названный ею, уже бойко тарабанил ответ или, напротив, мялся и мемекал, пытаясь использовать полумрак в своих целях. Но учительница все видела, все понимала, и до полного освещения можно было вполне схлопотать пару за подсказку, потому что больше всего не любила Анна Николаевна обмана.

Словом, Вовка Крошкин – учись он в другом классе, мог бы считать себя совсем не опоздавшим, потому что свечи горели еще не на всех партах, когда он возник на пороге, отдуваясь и поблескивая белками.

Но Нинка Правдина заканчивала ответ, как всегда замахиваясь на пятерку, Анна Николаевна, довольная ею, кивала головой, зажигая последние свечи, и вовсе, казалось, не замечала Вовку.

Это был такой прием, такой способ проявления строгости, потому что если Анна Николаевна не замечала опоздавшего, значит, она очень сердилась, очень негодовала на его недисциплинированность, и только крайне уважительная причина могла спасти виноватого.

Нинка Правдина уселась, взмахнув от восторга косичками, заработала аккуратную пятерочку в журнале, а Анна Николаевна все не замечала Вовку, хотя зажгла уже свечи и теперь двигалась к столу.

В грозном молчании, в трепете колышущихся язычков пламени она уселась за стол и оглядела класс, похожий на таинственную пещеру.

– Ну, – сказала она сухо, не глядя на Вовку, – где был?

– Это... я... – бойко ответил Вовка, – бегал к реке...

Только исключительный случай мог бы спасти Вовку, а он молот какую-то несусветную чушь, какую-то городил ерундовину, и учительница, вскинув брови, вглядывалась в безответственного Крошкина.

Вовка топтался на пороге, мял в руке мохнатую шапку, которая, когда он ее надевал, делала его голову похожей на небольшой воздушный шар.

– На реку! – воскликнула Анна Николаевна.

– Ага! – бодро согласился Вовка. – Там, в тупике, санитарный поезд...

Эти слова поразили меня. Только что, сию минуту, я насмехался над Вовкой Крошкиным, удивляясь, какую он несет ерундовину, удивляясь его несообразительности – не мог будто бы соврать что-нибудь, ведь уж не такой великий грех опоздать на десяток минут, когда еще и урок-то толком не начался. И вдруг мне стало стыдно. Смертельно стыдно.

Я плетусь по утрам за мамочкой, как теленок, закрыв глаза и ничего не соображая оттого, что хочется спать, иду, уцепившись за мамину руку, будто не могу дойти сам, и ничего меня больше не интересует, словно я последний какой-нибудь детсадовец, а вот Вовка... Вовка – человек. Вовка пронюхал откуда-то про санитарный поезд и уже сбегал туда, к реке, где есть железнодорожный тупик, и все разулал.

Круглоголовый коротышка Вовка рос в моих глазах с каждой секундой, его опоздание было уже не виной, а благородством. Мельчайшие детали выплывали из моей памяти – и Вовкина решительность, когда он врезался головой в живот противника, – настоящий таран! – и его смелость – не побоялся один пойти этим темным утром к тупику! – и даже то, что Вовка в школу ходил один, никто никогда его не провожал, не тянул на веревочке, как меня, – все это озарилось новым светом, и я уже был готов вскочить, потрясая язычки пламени наших свечей, чтобы защитить Вовку от гнева учительницы, когда Анна Николаевна вдруг кивнула головой и сказала тихо:

– Садись!

Вовка стремительно разделся, повесил пальто и шапку на свободный крючок, вбитый в стенку класса, потому что все мы раздевались там же, где и учились, и, еще тяжело дыша, уселся рядом со мной.

Все глядели на Вовку с удивлением и интересом, пока не раздался негромкий стук.

Я повернулся. Это стучала Анна Николаевна указкой по столу, обращая на себя внимание.

Я взгляделся в учительницу, и мне стало не по себе. Ее лицо вытянулось и напряглось.

– Они приходят часто, – сказала она вдруг и повторила бесцветным голосом, будто это был диктант, – санитарные поезда приходят часто.

– А я не знал! – сказал Вовка, и Анна Николаевна вздрогнула.

И я не знал тоже. И никто никогда не говорил мне, что к нам в город приходят санитарные поезда, даже мама, хотя она работала в госпитале. «Вот дурак! – обругал я себя. – Ведь раз мама работает в госпитале, значит, раненых привозят! Это же понятно всякому!»

Да, это было понятно всякому, а мне было непонятно, не мог я сам догадаться, что раненых привозят, и спросить у мамы, как их привозят, простофиля разэтакий.

– Часто! – повторила глухим голосом Анна Николаевна, хоть и глядя на нас, но никого не видя. Потом она встрепенулась, будто сбросила с себя это странное оцепенение – никогда еще я не видел ее такой, – и встала из-за стола.

– Вы знаете, почему такие узкие проходы между рядами в нашем классе? – спросила Анна Николаевна настойчиво и ответила сама себе: – Потому что идет война и школы в нашем городе, большие и удобные, отданы раненым, там госпитали... Вы знаете, почему вы пишете на старых газетах, а не на тетрадях? Потому что идет война и фабрики, где делали тетради, – разрушены... Вы знаете, почему вместо ярких лампочек у нас горит керосинка, а на партах свечки? Потому что энергии не хватает заводам, потому что заводы работают на всю мощь, чтобы сделать побольше снарядов!

– Знаем! – крикнул яростно Вовка, и я снова с восхищением, как бы новыми глазами оглядел его.

– Мало знать! – ответила ему Анна Николаевна, отходя к окну и всматриваясь в медленно расступающуюся темноту. – Надо понимать...

Она долго смотрела за окно и, повернувшись, повторила:

– Надо понимать...

Учительница снова оглядела класс посвежевшими, как бы умытыми глазами и вдруг сказала негромко:

– Давайте сходим после уроков... Вова Крошкин будет провожатым.

И хотя она не сказала, куда сходим, хотя никто не произнес ни звука, все поняли, куда предлагает сходить Анна Николаевна. Все поняли, что она зовет сходить к санитарному поезду, и все, наверное, благодарно удивились ее словам.

В этот день Анна Николаевна так больше никого и не спросила, кроме Нинки Правдиной, а только рассказывала про то, как генералиссимус Кутузов заманил Наполеона в Москву, и там, в горящей Москве, этот наглый завоеватель вдруг понял, что он проиграл войну, хотя выигрывал все сражения и даже выиграл сражение под деревней Бородино, и бежал в свою Францию, бросив с позором войско. Еще Анна Николаевна читала нам стихи про это Бородино и еще басню Крылова про волка, который забрался на псарню, потому что в этой басне намекалось на Кутузова и Наполеона.

Анна Николаевна говорила, а в классе было так тихо, что даже свечечные огоньки не трепетали, а словно застыли, словно они неживые были или сделаны из стекла.

Я слушал, как рассказывала Анна Николаевна, взглядывал изредка на Вовку, и он отсылался понимающе, и отчего-то мне щипало в глазах, в горле возникал непонятный комок, и мне хотелось заплакать или сделать что-нибудь замечательное.

После уроков, быстро одевшись, мы шли четкими парами к реке, к железнодорожному тупику, соблюдая строй и самостоятельно подравнявшись. Анна Николаевна торопилась за нами, оборачиваясь, я ловил ее улыбку, тыкал Вовку Крошкина в бок и приговаривал:

– Постой-ка, брат мусью!

Бовка меня понимал, прекрасно понимал, удивительный головастый человек, и отвечал в том же тоне:

– С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой!

Мы негромко смеялись, довольно поглядывая друг на друга, шагали в ногу, печатая старыми валенками хрустящий шаг, и серьезнели, вспомнив, куда идем.

* * *

Берег круто срывался вниз. Под горой в железнодорожном тупике, подле самой воды, стоял поезд с белой от снега крышей и красными крестами по бокам.

Там шла суетня.

Подходили грузовые газогенераторки, орали на лошадей возчики, женщины в белых косынках поверх платков таскали носилки.

На носилках, укрытые серыми одеялами, лежали люди. Раненые!

Все, что делалось под горой, казалось мне развороченным муравейником – маленькие черные фигурки беспорядочно торопились на белом снегу, – но не эшелон поразил меня.

Рядом с нами на крутом берегу стояли женщины.

Они стояли по двое, редко по трое, а больше всего поодиночке – большие и маленькие, старые и молодые, но все на одно лицо, – кутали в рукава ладони и молча, скорбно глядели вниз, на эшелон.

Над головами глухо стучали друг о друга, будто крылья недобрых птиц, голые ветки мерзлых тополей, и я пронзительно понял вдруг, что случилась какая-то беда. Беда эта ужасная, непоправимая, и ничего нельзя было с ней поделать, и эти ветки, похожие на птиц, они – правда, птицы, от которых нельзя укрыться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.